

У дороги Чибис

Борис
Вайнер

повесть

от автора

Эта повесть, точно карандашный набросок, детский автопортрет, сделанный сквозь годы и далёкий от беллетристики. Последней всегда недостаточно памяти автора – она обращается к опыту множества людей, а потом переплавляет его, образуя сюжет и персонажи и отставляя непригодившиеся детали.

Здесь же нет ничего из чужой памяти – только то, что хранит моя; и никаких героев, кроме Частной Жизни



157

К'е 11 2011

Самое раннее моё, из начала пятидесятых, воспоминание: Бугульма, время сирени, мне пять лет, я копаюсь в песочнице возле детского сада. Маленькие дворики частных домов по соседству обнесены редкими голубыми заборчиками, и на веранде за одним из них играет музыка:

**О любви не говори:
О ней всё сказано.
Сердце, верное любви,
Молчать обязано.**

Сквозь забор видно, как время от времени, чтобы перевернуть пластинку, к столику с патефоном подходит женщина в розовом с разводами платье. Я вслушиваюсь, и руки мои перестают ворочать лопаткой. Песня мне нравится, и от скрипок сладко замирает сердце, хотя я мало что понимаю. Впрочем, как сказал один хороший писатель, «если понравилось – значит, ты понял».

Женщина возвращается в дом, патефон продолжает звучать, а я слушать:

**У меня есть сердце,
А у сердца – песня,
А у песни – тайна,
Эта тайна – ты.**

В детском саду тихий час, и все мы спим на раскладушках в большой комнате. Пахнет хлоркой и мокрыми простынями, вывешенными на просушку за окно. А в коридоре, у самой двери в спальную комнату, висит моя картина. Она нарисована на зелёной тетрадной обложке, и я ею очень горжусь. Шедевр изображает еловую ветку, покрытую снегом, – практически неизвестный Шишкин. Через несколько дней мама

забирает картину домой и демонстрирует друзьям семьи – совершенно, как и я, не подозревая, что это первый и последний мой живописный успех.

Рисование всегда давалось мне плохо. Черчение я ненавидел. А вот с литературой и русским дело обстояло противоположным образом. Что в известной мере удивительно, поскольку Арины Родионовны в моём окружении не наблюдалось. Но книги родители любили, и у нас была неплохая по тем временам библиотека, добытая, как и всякий советский дефицит, в очередях. Помню, как однажды отец, ликуя и слегка навеселе, явился домой с очередным трофеем, ухваченным с книжного прилавка на центральной бугульминской площади, – «Следопытами в стране анималькулей». Этот детский науч-поп по истории микробиологии я проглотил за пару дней и до сих пор, встретив где-нибудь в журнальной статье имя «Левенгук», вспоминаю тот бугульминский июнь и радостного папу с томиком в голубом картоне.

Читал я тогда много. Опустив пока «джентльменский набор» детской классики, расскажу о книге сегодня почти забытой – «Похищении в Тютюрлистане» поляка Войтеха Жукровского. Она меня поразила. Это была сказка, но сказка, которая отличалась от всех до той поры мною читанных. История была не просто волшебная, а и странная, хотя там, как и положено, спасали заколдованную принцессу. Начиналась она с шахматного поединка двух королей, игравших шоколадными и мармеладными фигурами. Один из игроков жульни-

чал, далее разгоралась война и королевские пушки стреляли по врагам сардельками и галушками... Но главного злодея по имени Нагнётюк в финале карал вовсе не король, а некие инфернальные существа, которые ни в жизни, ни в сказках – я знал точно – не водятся. Это было примерно как если бы в «Тимуре и его команде» к Квакину, чтобы сказать «Ай-яй-яй!», являлось Кентервильское Привидение.

Каким образом проскочила цензура и попала к советским детям книжка, способная внести в наивные души сомнения в правильности и единственности сказочного (а может быть, не только сказочного) мира, остаётся догадываться.

Слово «мистика» я услышал много позже.

Разумеется, у меня были «Тысяча и одна ночь» и «Сказки народов мира», «Старик Хоттабыч» и «Дикая собака Динго», «Голова профессора Доуэля» и «Остров сокровищ», «Капитан Сорвиголова» и «Янки при дворе короля Артура», и много чего ещё. Выявилась и книга, которую я категорически не принимал: каверинские «Два капитана»; этот пионерский бестселлер был настолько чужд мне, что я так и не смог дочитать его до конца.

Особого упоминания заслуживают «Приключения Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрэн. Уступая в популярности «Малышу и Карлсону», в мою собственную жизнь «Приключения» вошли как-то очень вовремя и потому в личной иерархии литературных ценностей долго оставались на лидерских позициях. Калле, мальчик-сыщик из маленького шведского городка, запросто раскрывающий на каникулах то ограбление банка, то убийство, – что ещё нужно десятилетнему записному любителю Конан Дойла из городка советского?

Вслед Калле, Андерсу и Еве-Лотте мы создали на улице Октябрьской два соперничающих тайных общества – естественно, Алой и Белой розы. Конто-

ра нами почему-то не интересовалась. Хотя у нас, как и у Калле со товарищи, имелись далеко идущие планы, коробка с секретными документами, свой Снусмумрик – тщательно оберегаемый талисман, аналог знамени полка, а также, что особенно увлекало, – особый язык из числа так называемых «кирпичных»: «Гогдоде Момишошкола?» – «Вов шошколаоле. У нониох коклоласосососонный чочасос» – «Вов попоходод идодёмом?» – «Нона Додымомкоку? Идодёмом» – «Зозавовтотрора?» – «Нону»...

О, Йорки! О, Ланкастеры!

Первым моим прозаическим произведением было изложение, созданное в период учёбы во втором классе бухгалтерской школы номер шесть.

Ходил я тогда в перешитом кителе цвета хаки, за который, встретив по одежке, мальчишки меня вначале звали «Сталиным». Обитали мы на улице Краснослободской, в «финском» домике на две семьи. Из живности у нас были куры и добрая белая собака по кличке Дамка, про которую я гордо сообщал приятелям, что она не просто так себе дворняга, а чистокровная помесь лайки и овчарки. А в школе – подопечная крольчиха по кличке Марсианка, для которой я, весь пропахший горечью, на каникулах рвал по пустырям и мешкам таскал в крольчатник полынь.

Моё классное изложение по русской летописи оказалось таким близким к исходному тексту, что я был заподозрен в списывании и мне вклеили «пару». Вклеили несправедливо, ибо списывать мне и в голову не приходило: у меня была хорошая память, и к тому же я быстро сообразил, как в летописи строится предложение: глагол, существительное и только потом прилагательное или обстоятельство: «Засверкают мечи булатные, засвистят стрелы калёные – не пройдут враги на родную землю!».

Теперь-то я знаю, что это называется «чувство стиля».

Позже, уже в Казани, моим любимым уроком был русский, а одним из

самых увлекательных заданий – составление схем больших сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а ещё лучше – усложненно-сложносочинённо-подчинённых, занимающих страницу-другую в книжке. Выступая сегодня перед школьниками, в ответ на вопрос «А какой ваш любимый предмет?» я им честно всё это рассказываю. Школьники переглядываются, и по лицам их начинает бродить недоверчивая улыбка.

Ещё о несправедливости – как ни крути, а эти уроки ты тоже получаешь в детстве.

Однажды, классе в третьем, меня вызвали к завучу. И там, не слушая возражений, всыпали по первое число, с криками и приглашением в школу родителей, – за то, что я научил курить первоклашку, которого учителя поймали с папиросой. Перwokлашка во всём сознался.

Я ничего не понимал. Я не курил и тем более никого не учил это делать. Я даже понятия не имел, есть ли у нас в классе курящие. Вот гудрон жуём – правда.

Через пару дней я встретил первоклашку на улице. Я был старше и сильнее, и мне было за что его бить. Но моё изумление перед лицом его поступка было слишком велико, и я махнул рукой. Я просто не мог взять в толк, почему он сказал это про человека, который не делал ему ничего плохого.

Позже я сообразил.

Именно поэтому. Назвать тех, кто его действительно научил, ему было страшно. А меня – нет.

Моё доверие к человечеству давало первые трещины.

Учёба в младших (а впрочем, с некоторыми оговорками, и в старших) классах давалась мне легко, и домашние задания никогда не были в тягость – несмотря на всю мою любовь к футболу, сбору металлолома, «царю горы» или тогдашнему прообразу нынешних интеллектуальных телезабав – тихой скамеечной игре с фантиками, где надо

было угадать по произнесённой аббревиатуре название известного фильма: Д.И.О., например, означало «Девочка ищет отца», а З.Ф.З. – «За фабричной заставой».

Тем не менее отличник и хорошист успешно зарыл однажды на пустыре тетрадь с двойкой; а через много лет написал школьную эпитафию:

Здесь похоронен дневник Иванова.
С ним Иванов обошёлся сурово.
Но если бы не был суров Иванов,
То был бы отец с Ивановым суров.

Великое всё-таки дело собственный опыт.

Ученики, класса с пятого, чаще несправедливы к учителям, чем учителя к ним, – хотя бы потому, что отсутствие житейского опыта располагает к крайним суждениям скорее, чем его наличие. Дети легко путают строгость и жестокость, собранность и высокомерие, требовательность и придирчивость, спокойствие и равнодушие; они щедры на клички, и если тебя невзлюбили – не жди пощады: одна из наших «англичанок» получила прозвище «тресковая консерва» вовсе не из-за случайной оговорки, а потому, что была, с точки зрения рядового лентяя, излишне сурова. В глубине своей дикарской души школяр считает, что учитель (ница) – совсем иное существо, чем он сам; чужой, практически инопланетянин. И в этом качестве ему (ей) не следует: всё время к тебе приставать; не находить для тебя времени; слушать твою музыку; тупо не понимать, насколько эта музыка классная; быть всегда правым; ошибаться; танцевать (разве что вальс); сморкаться; ходить в туалет; ходить по пляжу в плавках, тем более в купальнике; петь (разве что про себя); плакать – особенно когда тебе не грустно; спотыкаться; зачёсывать волосы на лысину; быть беременной и т.п.

Однажды, уже весьма взрослым, я представил себе, что бы сказал на эту тему типичный семиклассник, если бы вдруг вздумал сочинять стихи в стиле

хайку. Получилась целая книга; вот характерное:

**Видел случайно:
Химичку физрук целовал.
Тоже ведь люди...**

Что такое в моём детстве был артист Аркадий Райкин – тема отдельная.

Ничего я так не любил мальчишкой, как смеяться и смешить друзей. А потому с упоением распевал в концертах тогдашний детский хит в жанре «смешной ужастик» – «Жил в городе Тамбове весёлый счетовод», и частушки из репертуара Ивана Суржикова: «Двухэтажный дом горит / А народ кругом стоит / Рассуждает меж собой / Догорит – пойдём домой!» (в Бугульме этот номер шёл на «ура», а в казанской школе успеха не имел, и я мгновенно и навсегда понял разницу между провинциальной и столичной публикой), играл в школьном спектакле Ходжу Насретдина и классу к шестому прочитал все юмористические книжки, какие только смог найти, – и новосовского «Незнайку», и «Троих в лодке, не считая собаки», и «Двенадцать стульев», и «Бравого солдата Швейка», и даже «Путешествие пана Броучека в XV столетие» Сватоплука Чеха. Но главной моей любовью был Аркадий Райкин. Выше не было никого. Аркадий Райкин и Чарли Чаплин (в кино у нас регулярно крутили «Огни большого города») – они парили в небе рядом, как два ангела смеха. Если я допоздна заигрывался в окрестных джунглях, родителям достаточно было крикнуть «Райкин!» (это обычно означало, что его выступление передают по радио, телевизор у нас появился позже), и я бросал всё и стрелой летел домой.

Как-то, уже в Казани, я даже написал ему письмо, но не получил ответного. А продолжение эта история получила лет через сорок, в другом веке.

Однажды мой московский приятель, киносценарист, при встрече со мной сделал таинственное лицо и сказал:

– Мне тут попался старый документальный фильм про Аркадия Райкина... Ты его смотрел?

– Конечно, – сказал я. – Пару раз. По телевизору. И что?

– Помнишь эпизод, где Райкин сидит за журнальным столиком с грудой писем?

– Кажется, да.

– Там наверху – твоё письмо! Точно! Имя, фамилия, обратный адрес! Специально кадр останавливали!

Целый день я чувствовал себя кинозвездой.

И я всё-таки дождался ответа от Аркадия Райкина.

Несколько лет моим героем оставался и остроумец из Бухары. Привалов и Соловьёв, а позже «23 Насретдина» издательства «Наука» были прочитаны по нескольку раз, многократно пересказаны приятелям лучшие истории – и про обещание научить осла разговаривать, и о том, как Насретдин рассудил спорщиков... В юности мне нравился гамзатовский Абуталиб – я нашёл в нём томка Насретдина. Повесть Соловьёва оказалась вовсе не детской, некоторые страницы я бы определил сегодня как откровенную любовную прозу, и именно их я особо ценил мальчишкой. А песенка, которую я как юный ориенталист пел, разъезжая верхом на осле (два артиста-мученика под жёлтой попонкой) по школьной сцене, со мной и сейчас: «Я Ходжа Насретдин / Сам себе господин / И скажу – не совру / Никогда не умру...»

Не такое уж это «никогда» и преувеличение – во всяком случае, во мне прирастание к Востоку живёт – к Омару Хайяму и к Абу Нувасу, и к особенно любимой – не только из-за стихов, но и потому, что по пути с Курил в Бугульму наша семья года полтора прожила в Кировабаде, то есть в Гяндже, – персидской поэтессе двенадцатого века Мехсети Гянджеви:

**Поникла роза, всматриваясь вдаль,
Её печаль – по соловью печаль,
Рвёт на себе одежды иступлённо,
Безумной платья вешнего не жаль*.**

* Перевод В. Кафарова

Память устроена таким образом, что, с одной стороны, не хранит ненужного; так обитатель мегаполиса, всю жизнь в нём проживший, не обязан знать все его улицы, закоулки и тупики. А с другой – она лукаво, с какой-то своей скрытой целью, придерживает в глубине редкие и обычно бесполезные для тебя кадры.

Из просмотренных в бугульминские годы фильмов моя память не запечатлела в более-менее полном виде ни одного. От «За фабричной заставой» остался только стучащий по рельсам поезд, от «Тарзана» – герой в набедренной повязке, перелетающий то на лианах с дерева на дерево, то на верёвке через подземелье, от фильмов Чаплина – фигурка Чарли, уходящего вдаль по дороге, от «Багдадского вора» – какие-то люди, ползущие вверх по огромной статуе, да стишок из детского анекдота, в котором некий иностранец (чьи брюки нечаянно распустила вязавшая в темноте бабушка, соседка по ряду в кинотеатре) делился впечатлениями: «Пока смотрел «Багдадский вор» / Советский вор штаны упёр...»

Казанский кинотеатр «Родина» запомнился мне, помимо прочего, по ажиотажу, царившему при показе «Фантомаса» – со стычками в очередях и исковерканными толпой металлических ограждениями; в «Спутнике» впервые, уже первокурсником, я увидел фильм Бергмана (а именно «Земляничную поляну»)… Сегодня многих киношек той поры уже не существует – ни «Спутника» на Профсоюзной, ни «Родины» на Баумана, ни «Вузовца» на «кольце», ни «Пионера» на Ленина, ныне Кремлёвской.

О «Пионере» нужно сказать особо. Здание старинного Пассажа на углу Ленина и Джалиля во времена перестройки впало в вечный ремонт; в шестидесятые же оно вмещало многочисленные магазины и кафе и тот самый кинотеатр; со стороны Джалиля располагались квартиры, там на высоком этаже с крутой лестницей жили мои од-

ноклассники по шестой казанской школе.

Зрительный зал в «Пионере» был длинный и узкий, и пацанское «Ура-а-а!» на победных кадрах «Чапаева» катилось в нём из ряда в ряд почти как от трибуны к трибуне на футболе. На подступе к залу, в холлах, перед началом сеанса проходили джазовые концерты, а в паузах к публике выскакивали, как чёртик из шкатулки, артисты-разговорники, помимо объявления номеров исполнявшие Зоценко, Ардова или музыкальные фельетоны.

Музыкальный фельетон был жанром популярным и несложным в изготовлении. На заданную тему придумывался сюжет, к сюжету подбирались песни, по куплету из каждой, и сочинялся на скорую руку новый текст – для пущей узнаваемости с использованием старого. Например, если речь шла о воровстве корма для животных в цирке или зоопарке, то вначале на мотив «Старого клёна» пелось что-нибудь вроде «Старый слон, старый слон, старый слон совсем худой...» Связки между песенными кусками были тоже в стихах. Метод сохранился и сегодня, в частности у кавээнщиков, только в соответствии с моментом они могут спеть «Старый клон, старый клон...» или, скажем, «Клон ты мой опавший».

Разумеется, в школьные годы о технике создания эстрадных текстов я не задумывался, фельетоны эти обожал и иные номера казанских разговорников знал наизусть, смущая время от времени артистов подсказками из зала.

В Бугульме имелся драматический театр, носящий сейчас имя начинавшего там сценический путь Алексея Баталова. Я же в силу природной смешливости тяготел скорее к эстраде, нежели к театру. Особенно, как уже упоминалось, к разговорному жанру – конференсу, рассказам, монологам, скетчам и прочим малым формам. Владимир Хенкин, Рина Зелёная, Елизавета Ауэрбах, Миронова и Менакер, Тарапунька и Штепсель, Мирон и Новицкий – эти имена

обещали мне радость. Я и сам уже пробовавал читать что-нибудь со сцены – в частности, «Их бин с головы до ног» Ильфа и Петрова, выуженный из какой-то книжки и показавшийся мне в мои двенадцать очень смешным. Речь там шла о дрессировщике Мазуччио и его говорящей собаке Брунгильде, которую, невзирая на европейскую славу, худсовет цирка не пускал на арену по причине мещанского характера её песенного репертуара. «С головы до ног я создана для любви-и-и», – пел я, то бишь несчастная собака, помахивая хвостиком в тщетной попытке покорить сердца цензоров. А затем ложился на воображаемые опилки и выдавал коронную собачью реплику: «Их штербе...», то есть «Я умираю...»

Детский эстрадный опыт пригодился мне в студенческие годы, в бытность мою актёром Театра юмора и гротеска при Казанском университете, или попросту УТЮГа.

Миров и Новицкий на закате эстрадной карьеры приезжали к нам с гастролями, и мне довелось брать у них интервью для газеты. За пределами сцены они по-прежнему находились каждый в своём образе: резонёр Новицкий был серьёзен и величественен, а комик Миров балагурил; когда им представили молодого казанского журналиста, Новицкий благосклонно кивнул и промолчал, а Миров заулыбался и по-клоунски развёл руками: «А я-то думаю – он это или не он?».

Футбол в Бугульме был всегда и везде. На Краснослободской ворота располагались между двумя брошенными на землю портфелями, и мы всем скопом носились по импровизированному полю, поднимая облака пыли, за которыми не всегда можно было разглядеть, свой перед тобой или чужой. Игрок я был не слишком толковый, но смелый: однажды меня поставили в ворота, и, зная по взрослым играм на стадионе «Строитель», что вратарь непременно должен бросаться за мячом в угол, я при первом подходящем слу-

чае решился и бросился – даже не догадавшись выставить перед собой руки, просто мордой вперёд. Впрочем, тогда всё заживало быстро.

На Октябрьской, между домами и оврагом, имелось футбольное поле со всамделишными воротами. Играл я главным образом в полузащите. Я никогда не умел быстро бегать, но к этому времени у меня обнаружили и достоинства: ловкое обращение с мячом, отработанный ежедневной практикой битья о соседские заборы удар и отсутствие жадности, то есть желание играть в пас; в целом же я был из тех, кого именуют «технарями». Ударов имелось четыре: «подъёмом», «щёчкой», «пыром» и «сухим листом», он же «лобановский» по фамилии знаменитого нападающего. Угловой назывался «корнер», а пенальти – «пеналь» (не путать с «пенделем»). «Сухой лист» из-за боковой подкрутки ценился при подаче угловых, особенно если ветер дул в сторону неприятельских ворот, – появлялся дополнительный шанс, что мяч по крутой дуге занесёт в «девятку».

В Казани, куда мы переехали в шестидесятом, я продолжал нещадно стучать мячом о сарай во дворе старого кирпичного дома на Островского. Дворовая кличка у меня была Панич (от непонятной соседским мальчишкам фамилии через промежуточную этимологическую ступеньку: Вайнер – Ванич – Панич) и вполне мне подходила: к этому времени я уже осознал себя, да и другими расценивался как одиночка, уличные традиции не слишком чтивший и вообще державшийся особняком. Тем не менее в команду меня звали почти всегда, и на Островского, и в шестой школе, что находилась в тогдашнем Телеграфном переулке. Класс на класс мы часто играли в университетском дворе, на огороженной площадке чуть ниже здания обсерватории, и матчи наши, соответственно, заканчивались с астрономическим счётом: «десять – четыре» или «семь – три».

Один из моих одноклассников в стартовавшую уже эпоху «Кожаного мяча»

так по футбольной линии и пошёл и, будучи невысокого роста, весьма котиrowался среди тренеров как подставное лицо. То есть время от времени выступал, поражая соперников немалыми для «малыша» игровыми умениями, в составе более юных команд.

А я, уже казанским школьником, долго ещё по инерции переживал за бугульминский «Строитель» и то и дело торчал на стадионе за его воротами, подавая вратарю далеко улетевший мяч.

164

По-серьёзному же, лет с восьми, я болел за московское «Торпедо». Сначала просто понравилось название – грозное и лёгкое одновременно. А потом и игра, в лучших своих образцах по-голландски изящная, нетипичная для тяжеловатого советского футбола, исключая, может быть, ещё тбилиское «Динамо» времён Метревели (кстати, бывшего торпедовца) и Кипиани; если хотите – даже игра в игре: и стрельцовская хитрая пятка, и воронинские джентльменские финты и пасы, и моментальные пластические этюды Банникова и Кавазашвили. Сейчас, когда одна из лучших школ российского футбола практически перестала существовать, мне и самому с трудом верится, что когда-то, мальчишкой, я прыгал от восторга: «Го-ол!», «Го-ол!» под столбом репродуктора в пионерском лагере: «Торпедо» в пух и прах, «семь – один», разделявало киевских динамовцев...

Из этого самого лагеря и, кажется, как раз в эту смену я однажды удрал.

Что творится в голове у двенадцатилетнего мальчишки – понять не так просто. Мне вдруг захотелось – ненадолго, я собирался тут же вернуться – домой, на Островского. И я, никого не предупредив, пошёл. Да ещё прихватил с собой кого-то из лагерных приятелей. Наше отсутствие быстро обнаружили, в лагере поднялся переполох; вернувшись, я уже застал возле отрядного корпуса вызванного вожатыми со службы отца.

Средний школьный возраст – период, когда умение шевелить ушами ценится выше, чем извилинами.

Футбол, между прочим, у нас был ещё и настольный. Не тот, фабричного изготовления, где на длинных стержнях, за которые надо дёргать, бегали туда-сюда по узким прорезам на поле фигурки металлических игроков. Для нашего футбола не требовалось ничего, кроме стола. Мячом был маленький бумажный квадратик. Квадратик перегибался по диагоналям, а затем из него одним движением делалось что-то вроде вытянутой за среднюю точку вверх четырёхконечной звёздочки. Воротами служило пространство между поставленными на край плоскости пальцами – большим и средним. На указательный возлагались функции голкипера. Звёздочка-мяч лежала на столе, играющие по очереди хлопали рядом с ней плотно сложенной ладонью – и воздушная струя отправляла лёгкий снаряд в путь.

А ещё был пинг-понг – когда мы после четвёртого класса переехали с Краснослободской на Октябрьскую и я перешёл из школы номер шесть в школу номер двенадцать. Играли мальчишки как, чем и на чём попало. Ни шариков, ни сеток, а порой и ракеток – впрочем, эти последние несложно было выпилить лобзиком из фанеры – у нас не было. Вместо сеток мы ставили поперёк любого стола один за другим «домиками» учебники; теннисные же мячики с риском для родительского кошелька вырезали из пористой резины автобусных сидений. Милиция с вандалами боролась, но без особого успеха. Прыгали мячики плохо и произносили при этом не «пинг-понг!», а скорее «плим-плям!», «шлюпшляп!» или «птуч-птач!». Впрочем, нам практически не с чем было сравнивать.

Однажды маме пришло письмо из Соединённых Штатов. Мамина сводная сестра, ещё девчонкой в двадцатые уехавшая из Одессы к своей матери-американке, с войны разыскивала по

всему Советскому Союзу единственную оставшуюся в живых родственницу. Остальная семья – моя бабушка, которой было чуть за сорок, и младшая мамина сестра, шестнадцатилетняя Сара, – погибла от тифа в 1942-м в госпитале на каком-то южном полуострове (по некоторым сведениям, на станции Славянской) во время эвакуации.

Это был период потепления международного климата, и в пятом классе бугульминской школы номер двенадцать организовалось маленькое общество советско-американской дружбы. Письма «туда» и «оттуда» мы обсуждали на классном часе. А вот на почтовые платежи потепление не распространялось. Найдя нас, тётушка прислала для племянника посылку: крокет и настольный теннис. Но советская пошлина за две детские игры составила несколько родительских зарплат; семья не могла выложить таких денег, и мои ракетки, сетка и шарики с примкнувшим к ним крокетом растворились в пространстве.

В теннисную секцию я начал ходить уже в Казани. Тренировались мы в парке «Чёрное озеро», в выкрашенном голубой краской и напоминающем речной пароход деревянном здании рядом с прудом, где плавали лебеди, и возвышавшимся чуть подалее куполом старого, уже пустующего цирка. Здесь у нас были настоящие звонкие шарики – китайские и вьетнамские, были натянутые между двумя столбиками высокие сетки, здесь я научился разделять ракетки на жёсткие и мягкие, различать, какая из них «тянет», а какая нет; узнал, как на скорую руку проверить, нет ли на мяче трещин, что такое «хватка пером» и «ножом», «подрезка», «пилка» и «подставка»; освоил «кач» – до изнеможения нудную манеру игры – и удары: простой «накат», «накат с переводом», «щелчок» и «топс» – да много ещё какие премудрости настольного тенниса.

Сегодня, когда я вижу в спортзале едва заметного из-за стола, но уже вполне уверенного в себе мальчика в фирменной футболке или девочку в

задорной плиссированной юбочке, со специальным теннисным чемоданчиком, где имеются комфортабельные отделения и для ракетки, и для резиновой накладки на замену, и для китайских – конечно, китайских! – шариков, и для пузырька с протирающей жидкостью, и даже для особой тряпочки, – я со смешанными чувствами вспоминаю свой опыт игры в «плим-плям».

Практическая география моя простиралась не слишком далеко. Где-то были Одесса, Москва и Ленинград, там у нас родственники, чуть поближе Казань – там дедушка с бабушкой, неподалёку – Сосновка, подальше речка Дымка и Карабашское водохранилище – конечные пункты школьных походов, затем деревня Матвеевка на Ике, где мы жили до Бугульмы и куда отец по старой памяти как-то свозил меня на недельку – порыбачить и поесть мёда с пасеки; затем обнаруженные в походах сёла с диковинными именами Куш-Тиряк и Кук-Тяка; Лениногорск, там у нас друзья, – пожалуй, это и всё. И дом отдыха в Берсуте на Каме, где я играл на нервах местного массовика-затейника, с полуслова разгадывая немудрящие шарады, которыми он развлекал разновозрастную публику, и где меня поразили двое незнакомцев: человек с култыгами вместо рук, игравший в волейбол, и девочка с фамилией Блоха.

– Тебя за неё не дразнят? – не без сочувствия спросил я.

Мой собственный опыт говорил, что непривычное имя вызывает как минимум непонимание. «Вайнеров, к тебе родители приехали!» – так меня по воскресеньям вызывали к лагерным воротам дежурные в Сосновке.

Девочка помотала головой:

– Не-а.

– Честно?

– Честно.

Я не поверил.

Отца моего привезли в Казань из Двинска-Даугавпилса годовалым младенцем в 1916-м. Здесь, на Островско-

го, он вырос; водил дружбу с ассирийцами, державшими в городе традиционный для них бизнес, и парнишкой подрабатывал чистой обувью на Баумана, из Казани в качестве военного юриста призывался на войну, на Дальний Восток. Там он воевал, был ранен, там встретил мою маму, оказавшуюся в этих краях по распределению после одесского мединститута.

Мамин отец умер рано, а в войну она полностью осиротела. Папины же родители по-прежнему жили на Островского; в этой большой комнате «с частичными удобствами», перегороденной пополам, мы и поселились по приезду из Бугульмы. На другой половине жил мой дедушка Файвуш, большой аккуратист, человек тихий и абсолютно советский, много лет проработавший экспедитором на меховом комбинате; помню две его удивлявшие юного пионера обеды привычки: солить блюда не пробуя и есть сначала второе, а потом уже суп.

В детстве я не раз сталкивался с бытовым антисемитизмом. И при этом не сознавал, что если какой-то мой сверстник дразнит меня, что называется, «по нации» — то, во-первых, он не понимает о чём речь, а во-вторых, виноваты скорее всего взрослые, водившие в его присутствии ксенофобские разговоры, которые наш обыватель и за грех не считает. Однажды, лет в девять, катаюсь зимним днём на санках с крутого холма на Краснослободской, я услышал от какого-то мальчишки это самое бранное словечко, брошенное в данном случае вне конкретного конфликта — просто с целью задеть. И меня действительно задело: я схватил с земли обломок кирпича и ударил обидчика по голове. Была кровь, был шум, вечером его родители пришли к нам домой и говорили с моими. Однако меня не наказали. Возможно, папа с мамой всё же сочли повод для моего — несомненно дурного — поступка существенным.

По большей же части мальчишеские конфликты совершенно не были связа-

ны с межнациональными отношениями — только с межличностными или в крайнем случае межличностными.

Хулиганили мы нагло, разнообразно и не всегда безобидно. Хотя хулиганом я вовсе не был. Но юная энергия вкупе с неведением и невидением последствий (на коих, между прочим, базируется не только мальчишеское шпанство, но в большой степени и детский героизм), всё равно сказывались — и в разбрасывании по почтовым ящикам загадочных посланий в виде «кровавого» отпечатка собственной пятерни, и в стрельбе из рогатки сквозь чердачное окошко по гуляющим на улице, и в набеге на совхозные огурцы с последующим захватывающим дух уходом всей бандой от погони, и в выставлении поздним вечером на тёмной дороге облачённого в плащ пугала — с головой-тыквой, в которой были прорезаны глаза и нос, а внутрь помещена горящая свечка, с руками-палками и чем-то вроде ёлочной крестовины вместо ног. Но больше всего мы любили постуканчики.

Делался постуканчик следующим образом. В ушко крупной иголки продевалась леска. На её коротком конце закреплялась небольшая картофелина. Затем иголка незаметно для хозяев втыкалась в раму какого-нибудь окна так, чтобы можно было, дёргая леску за длинный — в пятнадцать-двадцать, а то и больше метров — конец, постучать картофелиной о стекло. Затем все укрывались на склоне оврага, атаман тянул за нитку, и мы с замиранием сердца следили за реакцией жильцов на повторяющийся стук в окно. И если та оказывалась угрожающей — шайка с воплями «Тикай!», хохоча и ухая, спотыкаясь и падая, в кровь расцарапывая руки и ноги, неслась сквозь кусты, крапиву и репейник врассыпную.

Ни лётчиком, ни моряком, ни шофёром стать мне никогда не хотелось. Мечтаемых профессий было две: геолог и артист.

Во имя первой зачитывались до дыр популярные минералогические книжки Ферсмана, собиралась наряду с марками изрядная коллекция камней и камешков, с замиранием сердца слушалось у радиоприёмника «Держись, геолог, крепись, геолог / Ты солнцу и ветру брат!» и производились раскопки в овраге на Октябрьской – притом безрезультатные, ибо под одним из крупных бугров были обнаружены солидные по местным масштабам залежи мела; от мела откалывались куски и кусочки, коими разрисовывались окрестные заборы и школьные стены – и снаружи, и внутри.

Во имя второй был самодельный кукольный театр заодно с театром теней, устроенный за занавесом из простыни на лестничной площадке двухэтажки на Октябрьской, регулярное возникновение на школьной сцене и пение на два голоса в самодеятельности той же Сосновки «Светлый мой Сплит синеоки-ий / Тёплого моря прибо-ой» под аккомпанемент слегаго баяниста Володи.

Геология не сбылась – лишь раз, много позже, дав случайный рецидив в виде походов за красной с жёлтыми прожилками яшмой и розовыми полупрозрачными сердоликами по пицундским галечным пляжам. А вот сцена вполне осуществилась, хотя не столько актёрская или певческая, сколько авторская.

Пели мы тогда много и охотно, причём с равным удовольствием обязательную и вольную программу. Официальное – на школьных собраниях, при приёме в пионеры или у лагерного костра – «Чайка крыльями машет / За собой нас зовёт», «Бескозырка белая, в полоску воротник» и, конечно, «Взвейтесь кострами, синие ночи...» (на строчке «Мы пионеры, дети рабочих» я ёжилась, чувствуя себя самозванцем: моя мама была врач, а папа адвокат). А вольное – везде. У нас имелся обширный уличный репертуар – можно сказать, что корабли в нашу гавань заходили уже тогда.

В городе, во дворе, это было что-

нибудь жалостное, из недавних ещё военных лет: «Жил в Ростове Витя Черевичкин / В школе он отлично успевал / Иногда в свободную минуту / Голубей своих он выпускал...», либо военное же комическое: «Летят по небу самолёты – бомбовозы / Хотят засыпать нас землёй / А я, молоденький парнишка – лет семнадцать, двадцать восемь, так примерно сорок пять / Лежу с пробитой головой». Либо, наоборот, экзотическое – «Мы идём по Уругваю / Тьма – хоть выколи глаза / Слышны крики попугаев / И мартышек голоса...»; на мотив «В кейптаунском порту» пелся оригинальный отечественный текст: «Старушка не спеша / Дорожку перешла / Навстречу ей идёт милиционер»...

Летом, в Сосновке, приоритеты уточнялись. В младших отрядах шлягером была песня про котёнка: «Паровоз по рельсам мчится / На пути котёнок спит» – типовой триллер, где, как и положено, побеждал слабейший, но публице социально близкий: «Паровоз лежит в больнице / Ему делают укол / А котёнок спит на печке / И лакает молоко». В Казани от бабушки Фриды я однажды услышал меланхолическую идишскую «Понапрасну, мальчик, плачешь / Понапрасну ножки бьёшь...» – и с удивлением узнал в ней лагерного «Котёнка». А в среднем отряде пели оптимистическое – про Васю-сироту: «Там, где поля пустые раньше были / Там теперь раскинулся колхоз». Железный конь, знак эпохи, на припеве заскакивал и сюда: «Ой ты лети, лети, моя машина / Ой как много вертится колёс / Ой какая чудная картина / Когда по рельсам мчится паровоз»...

И все, даже самые разбитные и шпанистые, и в Бугульме, и в Казани распевали, ещё без поздних цинических дополнений, нежное лирическое: «Расцвела сирень в моём садочке». Один из куплетов этого уличного романса восхищает меня и сейчас:

Я тебя в сиреновом платочке
Целовал в сиреневые щёчки.
Тучки шли, и дождик шёл.
И тебе, и мне хорошо.

Но время шло, эра светлых годов всё близилась и всё никак не наступала, старый репертуар забывался и освобождал место новому: услышанному от приятелей по двору или звучавшему из нашего – в самодельном корпусе с алюминиевой птичкой, собственноручно наклеенной на лицевую панель, – радиоприёмника с гордым именем «Чайка». Чаще всего белая птица почему-то пела голосом Бейбутова: «Огонёк, огонёк / Ты свети, свети мне в пути...» или «Только у любимой / Могут быть такие / Необыкновенные глаза».

Завершение моего первого казанского учебного года совпало со всесоюзной премьерой «Человека-амфибии» по Беляеву, когда нельзя было из дому выйти, чтобы не услышать «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы / Всем на дно!»; на Левобулачной прямо на меня как-то выскочила девчушка лет пяти с торчащими в стороны косицами – и завопила: «Эй, моляк, ты слишком долго плавал!»; в Казань с театром приехал артист Коренев, игравший Ихтиандра, и на улице Островского, у служебного входа в качаловский – прямо напротив нашего подъезда – вечерами дежурили местные соперницы Гуттиэре с букетами.

Лично я предпочитал не безбашенную «Нам бы, нам бы», а другую, более романтическую: «Лучше лежать на дне-е / В синей прохладной мгле-е / Чем мучиться на суровой / Жестокой проклятой земле-е»...

Правда, это не про моляка, а про лыбака.

Если бы я в детские годы вдруг захотел на манер эзков что-нибудь изобразить на собственной груди, то это, несомненно, была бы надпись «Не забуду лагерь Сосновка». Сие не означает, что в пионерском лагере под Бугульмой, куда меня отправляли из лета в лето, мне было плохо. Напротив, хорошего было больше. И тамошние обязанности и развлечения были внове, и я с удовольствием дежурил по территории или по кухне, и ходил в походы,

и катался на «гигантских шагах». «Шаги» эти представляли из себя столб с прикрепленными к вращающейся верхушке длинными верёвками. В петлю на конце верёвки садился очередной (в буквальном смысле: возле аттракциона часто были очереди) пионер и, разбегаясь и взмывая в воздух, получал возможность сделать столько больших прыжков, на сколько у него хватало сил. Радостью было и выпросить у горниста трубу, чтобы выдуть хриплый отбой или сигнал к обеду; и черноватые частушки, исполнявшиеся а капелла у лагерных костров: «Подружка моя, я тебя утешу / Со второго этажа за ноги повешу!»; и порулить на пыльной дороге инвалидским автомобилем отцовского приятеля; и хорошенько разглядеть на лесной опушке двухвостую ящерицу; и попробовать вкусности, которые привозили по воскресеньям родители (лет через сорок я обнаружил в книжке Дона Аминадо замечательно смешное наблюдение: «Честный ребёнок любит не папу с мамой, а трубочки с кремом») и которыми принято было делиться с палатой; и карамель типа «Дунькина радость» на полке соседнего сельмага, и особенно водившиеся на той же полке прессованные кубики какао и кофе с сахаром – вкусней любой конфеты и к тому же дешёвые.

Но лето, как гласит песенная мудрость, – это «маленькая жизнь» и, как всякая жизнь, состоит из разного. У меня даже сейчас не получается забыть ни удаления с поля за гол в собственные ворота, забитый дикой коленкой в порыве неуправляемого энтузиазма, ни подробностей тайной детской лагерной жизни, с каждым годом всё больше напоминавшей беззастенчивую и грубую взрослую. «Чем отличается детский взгляд на жизнь от взрослого? – спрашивали меня много лет спустя на телевидении. – И чего дети хотят больше всего на свете?». «Отличается – отсутствием задних мыслей, – отвечал я. – А хотят – быстрее повзрослеть». Так вот, классу к пятому-шестому среди моих сверстников было уже немало пер-

сонажей себе на уме, и меня, с моим простодушием, при столкновениях с ними порой охватывало недоумение: «Это что, вот так всё и устроено?», переходившее в приступы грусти. Может быть, как раз в это время я не очень-то хотел взростеть.

С последним летом в Сосновке связаны новые для меня переживания, осознанные гораздо позже и ещё позже ставшие песней. В которой всё и так, и не так как было – согласно доброму старому правилу об отношении искусства к жизни как вина к винограду.

На полянке, на лужайке,
Я валяюсь в тишине.
На лужайке, в синей майке,
И всего двенадцать мне.
Надо мной, как будто зыбку,
День качает облака.
Я не то чтоб умный шибко –
Я задумался слегка.

Майка синяя главным образом для того, чтобы обозначить отсутствующее в строфе небо; зыбка – это и люлька, и «корейская» сеть в виде перевёрнутого зонтика, ею ловили рыбу уже в Казани, на Локомотиве, – иногда с лодок, иногда она, качаясь в воздухе, опускалась в воду прямо с моста. А задумывался я тогда редко; но метко: однажды в библиотеке, размышляя о чём-то своём, в густой тишине полного читального зала вдруг громко запел.

Я в «девятку» мимо стенки
Закрутил вчера с угла,
И Анисимова Ленка
Утром первой подошла,
У меня на кнопке ножик
И дворец на чердаке –
Почему же, отчего же
Я как рыба на песке?

В «девятку» закручивать время от времени получалось; девочку звали скорее всего Валею или Аней; ножик на кнопке мечтался, но добыть его мне не удалось. Зато у меня был другой – раскладной, с ручкой из розово-красного прозрачного, как стекло, пластика в белых точечках – такой красивый, что в

конце концов ему приделали ноги. А дворец располагался не на чердаке, а в чулане.

Я лежу себе на горе
На лужайке, где трава:
Без меня в далёком море
Пропадают острова,
Без меня летят кометы,
Бродят звери по воде...
Почему быть нужно Где-то?
Почему нельзя – Везде?

Это необыкновенное чувство возникло вдруг – ты мог слушать радио, сидеть у лагерного костра или просто идти по улице – и надолго не задерживалось; минута, когда тебе нестерпимо хотелось быть сразу везде: в Москве, на карнавале в Сан-Паулу, на Южном полюсе, на неизвестной планете, внутри каждого атома – во всей Вселенной. А удивительным оно было потому, что тебе не просто желалось этого – в это мгновение ты каким-то непостижимым образом действительно был всюду, или он – космос – был в тебе; так, наверное, должно ощущать мир Высшее Начало, не ограниченное физическим телом и запертым в нём сознанием.

В зрелые годы это, видимо, невозможно: опыт – полезная штука, но он нас заземляет.

Я не буду греком древним,
На меня не бросят взгляд
Ни простушка, ни царевна
Триста лет тому назад.
Злые тени циферблата –
Вот где самая беда...
Отчего мы все – Когда-то?
Отчего мы не Всегда?

А это – уже более позднее, но неизбежное: ещё одно измерение бытия; где горизонталь, там и вертикаль, где вечность, там и мгновение, где пространство, там и время.

Словно в море пароходы,
Уплывали облака,
Было в этом мире что-то
И повыше чердака,
В музыкалке пела скрипка,
Ей чего-то было жаль...
На губах моих улыбка,
На душе моей – печаль.

Выше чердака располагалось Незнаемое, скрипка возникала как рифма и контекстный антоним к улыбке; а рифма на «печаль», и слуховая, и смысловая, выплывала из окна музыкальной школы, как яхта из акватории, финальным созвучием вечно живого канона: «Артишоки, артишоки / И минда-аль, и минда-аль / Не растут на ёлке, не растут на ёлке / О-чень жаль, о-чень жаль».

Музыкалку, класс фортепьяно, я посещал по настоянию родителей, и хотя ученик, как говорят, был способный, не очень-то её жаловал.

Может быть, мне не нравилось, когда надо мной кто-то стоит, – а учительница попалась суровая. «У дороги чибис, у дороги чибис / Он кричит, волнуется, чудак», – бегло тенькал я по клавишам. «Яблоко! – сдвигала брови она. – Где яблоко?» (это означало, что кисти моих рук над клавиатурой должны иметь такую форму, будто держат округлый плод с Древа Познания, а пальцы – располагаться кончиками вниз, а не вперёд) и в подкрепление педагогического тезиса хлопала меня указкой по тыльной стороне кистей – не больно, но обидно. Или, наоборот, просовывала указку под пальцы и стучала по ладони снизу вверх, как бы пытаюсь выгнуть кисть наружу.

Выступления в отчётных концертах, особенно «в четыре руки», были слишком монотонными и ответственными, чтобы приносить мне радость. В итоге я сначала перешёл на аккордеон, а потом, по переезде в Казань, отвлёкся на другие занятия и забросил мысли о музыке как профессии.

Иногда мне жаль. «О-чень жаль, о-чень жаль...»

Первые свои деньги я заработал лет в четырнадцать. До этого, кроме учебны, были только макулатура и металлолом, а также фармацевтическое предприятие на Профсоюзной, где мы всем нашим седьмым классом в порядке ознакомления с рабочими профессиями заворачивали в прозрачную плёнку ко-

робочки с лекарствами. По макулатуре я скучаю; давненько не звонили мне в дверь и детский голос не спрашивал: «Дяденька, а у вас лишней бумаги нету?». Никогда им не отказывал – чего-чего, а этого навалом.

У меня оставался свободный месяц каникул, и я с помощью отца устроился на завод медицинской аппаратуры. При заводе имелись жилые бараки, а в бараках – печное отопление, которое время от времени надо было приводить в порядок или вообще переключивать. Я был на подхвате: притащить цемент или кирпичи, унести кирпичную крошку, а главное – привязавшись верёвкой, побелить печные трубы на крыше – благо барак одноэтажный, хоть и высокий.

Не помню, сколько мне заплатили. Но «Ленин и печник» Твардовского – для меня глубоко личное.

В раннем детстве смерти нет – даже вдали, на горизонте; впрочем, горизонт не существует. Когда она подошла близко – не ко мне, просто так близко, что я её увидел, – мне было лет девять. От брюшного тифа умер мой товарищ и сосед по улице. Детей тоже усадили за поминальный стол; мы не вполне понимали, что происходит и, поев, ушли из дома в некотором недоумении. Детский взгляд на такие вещи вообще отвлечённый: умом, а не чувством; они ещё не сознают, что значит «навсегда», и защищены этим. А летом в Сосновке утонул мальчик, мой сверстник. Пока дело не прояснилось окончательно, весь лагерь, от рыдавшей на берегу вожатой до октябрят из младшего отряда, искал пропавшего: не вернулся ли он самостоятельно в палату, не убежал ли в лес, не он ли с компанией идёт вдали по горе... Через пару часов приехали родители мальчика, и по их почти спокойным, потерянными лицам мы всё поняли.

Это они – знакомый мальчишка и моя умершая пяти месяцев от роду в бараке на острове Итуруп старшая сестра; и прозрачная от лейкемии незная девочка в казанской больнице –

навещают меня теперь, когда я читаю у японской поэтессы, жившей три века назад, строки памяти её маленького сына:

**О, мой ловец стрекоз!
Куда в неведомую даль
Ты нынче забежал?**

(Стихи Тиё в переводе В. Марковой)

Тогда же у отца погиб от воспаления лёгких друг, милиционер из соседнего Лениногорска. Вот его я знал хорошо – кудрявого и весёлого, любителя выпить и загнать в застолье солёную притказку, обожавшего песню про журавлей – не с гамзатовскими стихами, а ещё ту, старую, «Высоко летят над облаками / И курлычут журавли над нами»; это он возле Сосновки давал мне порулить машиной... Смерть – это, когда дядя Миша больше не приедет.

Что касается меня самого, то со мной происшествия, по возможным итогам которых я рисковал никогда не написать этих заметок, случились дважды. И оба на воде.

Неподалёку от Октябрьской существовал большой пруд, в котором, в заливчиках, засучив штаны, мы ловили бреднем – сетью, натянутой между двумя палками, – некрупных карасей, где купались и прыгали с вышки – кто головой, кто солдатиком. Пруд был широкий, и не все из нас, в том числе я, могли это расстояние одолеть. Но однажды я решился.

Плавал я неплохо, однако силы рассчитать не сумел и чуть подалее середины они иссякли. Некоторое время я продержался на том, что менял стиль – переходя с сажёнок на брасс, ложась на спину или набок; хватило меня ненадолго. Кричать «Помогите-спасите!» было стыдно, да и кто бы меня услышал; я начал регулярно уходить под воду. Затем выныривал, делал несколько судорожных вдохов и гребков – и снова тонул. Берег уже был не очень далеко, но там никто о моём отчаянном положении не догадывался. Неизвестно, чем бы это всё кончилось,

но, в очередной раз уйдя под воду, я вдруг нащупал вытянутыми пальцами ног слой ила. И, из последних сил сделал ещё пару-тройку гребков, встал наконец на этих самых пуантах на дно... Подбородок при этом пришлось задрать так, чтобы рот хотя бы чуть-чуть выступал над поверхностью.

Обратно я возвращался пешим ходом по периметру. И родителям ничего не рассказал.

Второй эпизод имел место уже в Казани, за железнодорожными путями, на пляже Локомотив, куда постоянно бегали пацаны с Островского. Двор наш выходил на протоку Булак, где тоже когда-то купались, но мы это время уже не застали, и я только по рассказам отца знаю, что в пору его детства, то есть в двадцатые годы, к росшим на склонах Булака деревьям привязывались качели и просто верёвочные петли, и мальчишки, раскачавшись, прыгали с них в воду.

Локомотив с его высоким железным мостом и пляжными грибками мы оккупировали каждое лето. Там был и свой бассейн – огороженное широкими деревянными настилами с четырёх сторон водное пространство недалеко от берега. В бассейне всё и случилось. От отца я научился надолго задерживать воздух, а стало быть, хорошо нырять. Не знаю, что на меня нашло, может быть, внезапное желание фикснуть перед самим собой, – но я прыгнул в пустынный бассейн и с закрытыми глазами проплыл метров, наверное, двадцать. При этом меня занесло вправо, и к тому моменту как в лёгких кончился воздух, я оказался прямо под настилом. Намереваясь высоко выскочить из воды, я резко пошёл вверх – и на скорости врезался головой в доски. Сознания, однако, я не потерял, что меня и спасло: открыв от боли и испуга глаза и заметив на некотором расстоянии от себя светлое пространство, я рванул туда...

Мой лагерь в Казани располагался близ Дербышек, назывался «Ильинка» и запомнился мне, тогда ещё Рыжему,

а не Паничу, палатными пионерскими забавами вроде рисования спящим – углём или зубной пастой – усов и бороды, а также впервые увиденной близко змей; это была крупная гадюка, вдоль спины её вилась светло-серая полоса, ползла она по небольшой поляне мимо пенька и, слава богу, не обратила внимания на меня, застывшего в трёх шагах с надкушенным помидором во рту. И ещё Ильинку я помню по музыке – песни, звучавшие из лагерного репродуктора, были всё больше про любовь и ожидание счастья: «Отчего, почему, я не знаю сам, я поверил твоим голубым глазам», «А снег идёт, а снег идёт, И всё кругом чего-то ждёт» – а мы все верили, и все тоже не знали отчего и почему, и все любовались по ночам окнами, пусть и не московскими, и тоже всё чего-то ждали, и были уже влюблены, и даже не впервые.

Романтические отношения с девочками не были у мальчишек в моде. Хорошим тоном считалось говорить между собой на эту тему небрежно и грубовато, иногда – с использованием ненормативной лексики, известной нам по малолетству не в полном, однако уже достаточном объёме. Разумеется, у большинства это было напускное – но не у всех; что касается меня, то я как типичный маменькин сынок не ругался вообще.

Первой моей любовью была девочка из нашего – а именно второго «а» – класса. Забыл её лицо, зато помню тихий февральский вечер; кого-то из нас к кому-то в школе, как водилось, «прикрепили», мы делаем вместе уроки, и я под густым снегопадом провожаю её домой. Ещё рано, но на улице уже темно – только из низких окошек с разнотонными занавесками на сугробы падают полосы света, отчего снег тоже становится разноцветным, а тени приобретают фиолетовый оттенок; на девочке чёрная мутоновая шубка, я иду рядом, и мне, не знаю почему, очень хочется погладить её по рукаву. Но я не решаюсь.

В моей библиотеке и сейчас хранится книга, подаренная ею на день рождения.

Любимый праздник в детстве был один – точь-в-точь любимое мороженое: шоколадное, только шоколадное! и неважно, в вафельном оно стаканчике или в глазури и на палочке, или шариками посреди холодного озера в серебристой длинноногой чашке – и назывался он Новый год. Все прочие красные дни были обыкновенные, про Хэллоуин мы слыхом не слыхивали, а тридцать первого декабря наступал единственный волшебный праздник. Мы неслись с вешалки на его зов, восторженно вопя и на ходу выпрастывая руки-ноги из шубеек и валенок, которые подбирали за нами мама или бабушка, – и он нас не подводил. Волшебство было повсюду: оно парило в мерцающем воздухе зала, пахло хвоей и хлопущечным порохом, мигало цветными лампочками, сверкало золотой звездой или лиловой остроконечной пикой на ёлочной макушке, сыпалось невесть откуда кружочками конфетти и скользило, как отражения в комнате смеха, в хрупких зеркальных шарах, в стеклянных яблоках и сливах, серпантинной пружиной свешивалось с веток, пряталось в тёплых пальчиках соседки по хороводу, таилось в загадках Деда Мороза и Снегурочки, лежало на самом доньшке нарядных бумажных пакетов, которые вручались в конце вечера, а если в середине, то во избежание большого жора отдавались на хранение родителям. И оно было с продолжением! оно догуливалось, досматривалось, допрыгивалось, докатывалось, доигрывалось, допевалось, до-рассказывалось и доедалось и назавтра, и напоследавтра, и все дни январских каникул до того самого мгновения, когда мы начинали скучать и шли, так и быть, доучиваться.

И ещё одна песня пришла ко мне из детства. «Оловянный, деревянный и стеклянный», прилагательные-исключо-

чения; порхающая рядом готовая стихотворная строчка, вслед которой медленно, как на снимке в ванночке фотографа, проявляются сначала тема и мелодия, а потом каждое слово в отдельности; только сначала нужно прожить жизнь.

Три словечка, что, как водится в природе,
Ничего ещё не значили вчера,
Прилетели вдруг совсем не по погоде,
Словно бабочки с осеннего двора:
«Оловянный, деревянный и стеклянный» –
Белым мелом на оранжевой стене...
И негаданно, а может, и нежданно
Догадался я, что это – обо мне.

Как ни удивительно, правила на стенах и заборах школьники тоже писали; бабочка поздней осенью или зимой – знак чуда, но требуется уточнить, в чём именно оно состоит; в данном случае – в прозрении, когда взгляд, и вовне, и внутрь, вдруг замечает до поры скрытое.

Разве я не попадал, солдатик стойкий,
Между двух на поражение огней?
Разве я не говорил себе: «Не ойкай –
Верно, другу и врагу ещё больней»?
Разве рядом с ненаглядной и желанной,
На которую похожей не найти,
Я не таял, человечек оловянный,
От любви – и от печали впереди?

Любимое андерсеновское: маленькая Герда против Снежной Королевы; оловянный солдатик, верный своей бумажной балерине; принцесса Элиза, молча плетущая для братьев-лебедей рубашки из обжигающей руки крапивы; мягкий стоицизм, единство пластилина и квебрахо; какие нежности при нашей бедности...

Разве лодочку теченьем не крутило
И не вынесло неведомо куда?
Разве денежку, как юный Буратино,
Не закапывал я в землю никогда?
Разве я, дитя неверное чулана,
Где засовы да паучья злая сеть,
Не боялся, человечек деревянный,
Как полешко неприметное сгореть?

Пиноккио-Буратино; при всей дерзости и задоре чурбачка – те же хрупкость и подвластность огню; та же естественная для куклы похожесть на всех людей сразу; те же наивность и доверчивость; держите ли вы в памяти, что «дерево» и «деревня» слова однокоренные? А счастливый исход всего лишь дань жанру.

Ясным вечером на перевале горном
Разве сам я не просвечивал насквозь?
Лампой матовой при столике игорном
Разве мне потом бывать не довелось?
Разве карта припасённая не бита?
Разве всё на небесах не решено
И судьба моя смешная не разбита,
Словно мячиком нечаянным окно?

Стеклянный человечек, если не считать сервантесовского лицензиата Видриери, мне не попадался; зато, захлопнув книгу, я всегда обнаруживал, что стёкла кругом – вагон и маленькая тележка; что весь мир – это дом, в котором нельзя бросаться камнями; что мы, как ни ошестинивайся, – самая уязвимая его часть; и что никто и никогда не видел Главного Стеклодува.

Оловянный, деревянный и стеклянный,
Я по жизни, как по острову, кружу
И, как будто на знакомую поляну,
К старой школе раз за разом выхожу,
Где мальчишка хрестоматию читает,
И над стриженою чёлкою его
Три словечка, легкокрылые, летают –
И пока ещё не значат ничего.

У космоса есть механизм возвращения нас на старт; причём с любого расстояния и на любой старт; дежавю, да; а чаще просто ощущение бега по кругу. Зачем? детский вопрос: да затем, чтобы мы, простодыры, опять вернувшись к началу, поняли наконец – зачем.

Если долго мучиться, что-нибудь получится.

Пожалуй, нужно нарисовать здесь смайлик.

Рис. Людмилы Пельгасовой